

Юмори. Молодая вода

Евгений Павлов

Евгений Павлов

Юмори. Молодая вода

«Автор»

2026

Павлов Е.

Юмори. Молодая вода / Е. Павлов — «Автор», 2026

Октябрь 1992-го. Девятнадцатилетний Юта Мидзумото приезжает из Токио в горную долину Юмори помогать бабушке в рёкане «Сакурая». Здесь время мерят не часами, а паром над источником и скрипом половиц. Но в канун праздника Канбо в бане ротэнбуро умирает оценщик из Осаки — человек, который успел полюбить долину и отказался продавать её. Инспектор фиксирует факты, а Юта, прислушиваясь к дому и воде, открывает другой закон: в долине истину несут не слова, а молчание, свежая глина и две строки в журнале температур. Роман о памяти, что тяжелее архивных бумаг, и о прощении, которое дарит вода.

© Павлов Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Юмори. Молодая вода	5
Глава 1. Первый туман	6
Глава 2. Вода на ладони	18
Глава 3. Канун	24
Глава 4. Одна доска	27
Глава 5. Утро без Канбо	29
Глава 6. Инспектор из уезда	32
Глава 7. Письмо из Осаки	35
Глава 8. Р	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Юмори. Молодая вода

Юмори. Молодая вода

Детектив. Япония, долина Юмори, октябрь — ноябрь 1992 года

Глава 1. Первый туман

Эта история — о воде, которая однажды сказала правду. Тогда я думал, что запомнил ту осень из-за тумана.

Первый настоящий туман пришёл в долину в начале октября, и я увидел его с веранды рёкана ещё до завтрака. Рёканом называют такой дом, как наш: деревянный, старый, с вывеской у порога и восемью комнатами, где гостям дают не номерок, а имя. Наш стоял на западном берегу Кадзурагавы почти сто шестьдесят лет, и вывеска «Сакурая» успела выгореть до цвета чая, заваренного во второй раз. В тот октябрь я ещё не знал, что буду держать эту вывеску в руках, когда её снимут для починки, и удивлюсь, какая она лёгкая.



Я вышел на веранду босиком и первым делом поправил спортую бахромку на краю циновки. Она торчала не так с вечера, и мне было невозможно пройти мимо. Бабушка говорила, что в доме всё имеет своё место, и я долго считал это педантичностью. Теперь-то я знаю, что это была забота, которая просто не умела говорить.

У стены, на низкой скамье, сохли гэта — деревянные сандалии, в которых ходят к бане. Их ставили подушками вверх, чтобы ночная роса не ложилась на ремешки, и каждое утро я переставлял их носками к солнцу. Гэта скрипели. Гэта били по пяткам. Я ненавидел их первую неделю и потом привык, как привыкают к чужому расписанию.

Туман стоял над рекой так ровно, будто долину закрыли крышкой. Из него торчала только наша черепичная крыша да дымок над банным домиком внизу, у воды. Баню топили с пяти утра, и столб пара над ней был виден с обоих склонов. В долине это означало простую вещь: вода живая.



У банного домика двигалась серая фигура. Сайто-сан проверял воду, как проверял её каждое утро сорок лет: опускал в неё ладонь, держал, слушал. Он никогда не смотрел на часы, когда делал это. Он вообще редко смотрел на часы, потому что время у него было записано по-другому.

Я спустился по садовой дорожке, и роса сразу взяла мои ступни в плен. Камни были мокрые и тёмные, кусты у реки отяжелели. Сайто-сан услышал меня, но не обернулся. Его ладонь ещё лежала в воде.

— Сегодня — молодая вода, — сказал он.

Это было всё, что он сказал мне за то утро. Я тогда не понял, что это похвала. Я решил, что вода у нас, как и всё в долине, просто имеет возраст.

Я приехал в Юмори в сентябре — помочь на сезон, как было сказано дома. Формула устраивала всех, и я держался её, как держат чашку, которую боятся расплескать. В Токио меня ждал второй семестр экономического факультета, выбранного отцом за меня с той лёгкостью, с какой выбирают галстук. В долине меня ждала работа, которой я не умел делать почти ничего.

Первую неделю я ходил в новой юкате, и она сидела на мне, как на другом человеке. Юката — это лёгкое домашнее кимоно, в нашем рёкане их выдавали гостям, а домашние носили свои, потёртые на локтях. Моя была тёмно-синяя, слишком чистая, и пояс я завязывал так, что к узлу было стыдно подходить. Акико-сан перевязывала его молча. Только глаза у неё смеялись.



Акико-сан служила у нас старшей горничной сорок лет и знала про дом то, чего не знал никто. Чьё бельё не сдано в стирку. Кто не спал. Чей чай вернулся нетронутым. Сама она об

этом не рассказывала — она просто ставила перед вами новую чашку и говорила, что сегодня утром дров в сарае стало меньше, а больше никто за дровами не ходил.

— Вы поправили бахромку на веранде, — сказала она в то утро, подавая мне мисо-суп. — Я хотела сменить циновку в четверг. Теперь сменю, не будем обижать мастера.

Я не видел никакого мастера. Но спорить с Акико-сан было всё равно что спорить с домом.



За столом сидела бабушка и пила чай так, будто у неё был весь день. Впрочем, у неё и был весь день — как и все шестьдесят лет до него. Гости называли её оками, хозяйкой, и Акико-сан произносила это слово с маленьким поклоном, даже когда их никто не слышал. Оками в рёкане — это не должность. Это то, как встаёт дом, когда вы входите.

— Юта, — сказала бабушка, не отрываясь от чашки. — Ты сегодня куда-нибудь торопишься?

— Нет.

— Тогда пойдёшь медленно, — сказала она. — На почту и на кладбище. Отведаешь воду. До тумана дойдёшь или после?

Я посмотрел в окно. Туман уже поднимался по саду, и веранды первого этажа стояли в нём, как причалы. В октябре он приходил в долину каждое утро и держался до девяти, и из

него было видно только то, что стояло выше человека. Кто ходил в тумане — того видно не по лицу. По следам в мокром.

— До, — сказал я.

— Тогда возьми зонт, — сказала бабушка. — В тумане все сухие, пока не выйдут.

Письма тогда ждали неделю, и никто не умирал от этого.

Почта стояла на единственной улице долины, которую все звали просто Улицей: мост, чайная «Кицунэ», кооператив, клиника доктора и почта на углу. Улица называлась Хитоцу, что и значило «одна», и это была единственная честная вещь в топографии Юмори. Всё остальное притворилось, что у него есть окрестности.



За стойкой сидела Мисаки-сан и сортировала открытки. Она была единственной моей ровесницей в пределах досягаемости, как говорил её отец, имея в виду, что все остальные либо уехали, либо ещё не родились. Мы учились в одном классе, когда я приезжал к бабушке на лето, и она помнила меня таким, каким я себя не помнил вовсе.

— Мидзумото-кун, — сказала она. — Тебе. Два.

Она протянула мне два конверта и одну бандероль. Одно письмо было от моей матери, аккуратное, как счёт за электричество. Второе — из университета, и я положил его в карман не распечатывая, очень аккуратно, чтобы не порвать. Бандероль была для бабушки, семена хризантем из Нагано.

— Ты опять не читаешь при мне, — сказала Мисаки-сан. — В прошлый раз тоже. Это привычка или принцип?

— Бережливость, — сказал я. — Дома одно письмо на вечер.

— Тогда ты богач, — сказала она. — У нас на вечер — три слуха и одна телеграмма.

Я взял свои письма и пошёл к двери.

— Мидзумото-кун, — сказала Мисаки-сан мне в спину. — Ты у нас надолго?

Я обернулся. Она смотрела не на меня, а на открытки, и сортировала их ровно в три раза медленнее, чем раньше.

— Не знаю, — сказал я честно. — На сезон.

— Сезон в долине длинный, — сказала она. — Он иногда и не кончается.



Храм Юмори-дзиндзя стоял на уступе над Улицей, и кладбище поднималось за ним по склону, как тихая очередь. Камио-сан, храмовый служитель, был там, где ему и полагалось быть: у столба ворот, и входя, он коснулся его ладонью, как здороваются со старшим. Ему было шестьдесят пять, и он говорил о погоде так, будто погода была его прихожанкой.

— Канбо в этом году ранний, — сказал он мне. — Источник не любит спешки. Вода молодеет к празднику, это хороший знак.

Я сказал, что бабушка просила отведать воду. Камио-сан кивнул и провёл меня за храм, где из камня бил холодный ключ, и я напился, и вода была такая, что зубы сказали мне спасибо.

Пока я пил, Камио-сан смотрел на кладбище. Я тоже посмотрел. И увидел её сразу, потому что она стояла не по строю.

Могила была на самом краю, за последним рядом, у самой гряды. Серая, низкая, ухоженная. Перед ней стояла ваза, и вода в вазе была свежая — я это знал, потому что видел, как роса держится на камне до полудня, а на вазе её не было. На могиле не было имени.

— Камио-сан, — сказал я. — А это кто?

Он не ответил сразу. Он вообще редко отвечал сразу, если вопрос был не о погоде.

— Человек без имени, — сказал он наконец. — Есть и такие.

— А воду кто меняет?

— Вода здесь меняется сама, — сказал Камио-сан. — Дождь.

Я посмотрел на вазу. Вода в ней была чистая, как слеза, и на дне не было ни одного листа. Рядом, на всех других могилах, вода была старая, потому что семьи приходили в выходные. А тут — свежая. И никого.

— Камио-сан...

— Юта-кун, — сказал он, и я понял, что это ответ. — Канбо ранний. Источник не любит спешки.

Больше он в тот день не сказал ничего.

Обратно я пошёл вдоль реки, потому что бабушка велела идти медленно, а медленнее, чем вдоль воды, в долине не ходили. Кадзурагава была узкая и говорливая, и вдоль русла из неё выбивались горячие жилы — от этого над водой всегда стоял лёгкий пар, даже когда туман уходил. Я шёл и считал мостики, потому что мне было девятнадцать, и я ещё думал, что мир поддаётся подсчёту.

У поворота, где река брала вправо, я увидел Араи-сана.



Он сидел на корточках над водой и мыл руки. Долго. Как моют руки не от грязи, а перед чем-то. Я знал, что он керамист, приехал из Токио три года назад и живёт у своей печи выше по реке. Я видел его чаши в рёкане: бабушка покупала их для гостей, простые, серые, с одним пятном глазури, как клёновый лист.

— Арай-сан, — сказал я.

Он не вздрогнул. Он, наверное, никогда не вздрагивал. Он просто закончил мыть руки и поднялся.

— Мидзумото-кун, — сказал он. — Из города?

Я понял, что он имеет в виду Токио, хотя я шёл с кладбища. Для него, наверное, всё, что было ниже по реке, было городом.

— Уже нет, — сказал я. — Теперь отсюда.

Он кивнул, как кивают на правильный ответ. Мы пошли рядом, и он показал мне свой карьер — просто яму в склоне, где долина открыла бок. Глина там была красная. Не рыжая, не бурая — красная, как осенний перец, и Арай-сан взял её горсть и растёр в ладони.

— Долинная, — сказал он. — С песком. Видишь?

Я не видел. Но потом он поднёс ладонь ближе, и я увидел: в красном проступали серые крупинки, мелкие, как сахар.

— Другой в долине нет, — сказал он. — Внизу, у дорожек, глина чистая. А моя — с песком. Она потому и держит форму.

Он сказал это без гордости. Просто как говорят, что вода мокрая. Я запомнил это тогда так, как запоминают рецепт чужого супа: без всякой нужды, просто потому, что сказано хорошо.



Кадояма-сан я встретил на мосту, уже под вечер, когда туман давно ушёл, а сумерки в октябре приходили рано — в шесть было уже темно. Он стоял и смотрел на серпантин, который уходил из долины на юг, восемнадцать километров до уездного города, и больше никуда. Кадояма-сан был нашим гостем из Осаки, старшим оценщиком сети «Грин-Инн Кансай», и жил у нас уже третью неделю. Он приехал оценивать «Сакураю» для выкупа. Вся долина это знала. Вся долина держалась.

Он был вежлив, точен и неприятен ровно настолько, насколько требовала его работа. Я видел, как он меряет шагами сад и записывает. Я видел, как он пробует воду из всех источников и тоже записывает. За три недели долина начала его обрабатывать: он уже не отказывался от второй чашки чая, он узнал, что вода у нас молодеет к празднику, он спросил у Исии-сана, что в супе, и Исии-сан ответил ему — а тот не отвечал никому.

— Мидзумото-кун, — сказал он мне. Он знал, как меня зовут, он знал, как всех зовут. — Хороший вечер.

— Хороший, — сказал я.

Он смотрел на серпантин ещё немного. Потом сказал:

— Автобус ходит пять раз в день. Последний — в шесть сорок. Это удобно для гостей и неудобно для всего остального.

Я не знал, что на это ответить, и промолчал. Кадояма-сан не ждал ответа. Он вообще говорил так, будто читал вслух из своих записей.

— А кроме дороги, — сказал он, — из долины есть выход? Пешком. По горам.

— Тропа Куросава, — сказал я. — На перевал. Но ею никто не ходит. Она заросла.

— Заросла, — повторил он, как записал. — Спасибо.

Он поклонился мне ровно на столько градусов, на сколько полагалось поклониться девятнадцатилетнему помощнику, и пошёл к рёкану. Я смотрел ему вслед и думал, что чужие всегда спрашивают о выходах. Свои спрашивают о воде.



У чайной «Кицунэ» меня окликнула Накаяма-сан. Она сидела на скамье у входа с мадам Рэйко и пила чай, и увидев меня, встала — хотя ей было шестьдесят три, и вставать передо мной не полагалось никак.

— Юта-кун, — сказала она. — Вырос.

Она сказала это так, будто вручила мне что-то. Накаяма Фудзиэ приезжала в «Сакураю» двадцать четыре года подряд, на одну и ту же неделю октября, и жила всегда в комнате

«Момидзи». В долине её звали «учитель» — она всю жизнь учила младших в Осаке и помнила всех наших детей и всех наших умерших. Когда она вошла в рёкан в первый день, Акико-сан поклонилась ей, как своей. Может, и глубже.

— Накаяма-сан, — сказал я. — Вы уже здесь.

— Как каждый год, — сказала она. — Пока баня теплая и я жива.



Мадам Рэйко рассмеялась в чашу. Накаяма-сан посмотрела на меня внимательно, так смотрят учителя, когда проверяют, выучен ли урок, которого ещё не задавали.

— Твоя бабушка сегодня спрашивала, ты быстро ходишь или правильно, — сказала она. — Я сказала: правильно. Не подведи меня.

Вечером мы с Акико-сан несли из сарая мотыги и корзины. За домом, вдоль дорожки к бане, лежали две длинные клумбы, и хризантемы на них уже набрали бутоны — белые и медовые, к Канбо.

— На той неделе перекопаем, — сказала Акико-сан. — К празднику глина должна быть свежая. Гостям хорошо, цветам хорошо.

Я спросил, зачем цветам свежая глина, если они уже посажены. Акико-сан посмотрела на меня, как на чашку с трещиной: с жалостью и без надежды.

— Так положено, — сказала она. — Красная глина у нас хорошая. Гостям видно, что за домом следят.

Я взял мотыгу. Глина на клумбах была тёмная от росы, и краснота проступала в ней, как жилы. Я подумал про карьер Араи-сана, про серые крупинки, про то, что глина тоже бывает разная, хотя все говорят «глина». В тот вечер я ещё не знал, что долина запоминает подошвы. Я не знал, что свежая глина — это не уход. Это свидетель, который стоит и ждёт, когда его спросят.

Бабушка стояла на веранде и смотрела, как темнеет над Кадзурагавой. У банного домика горел фонарь, и пар над водой поднимался в него, как возвращался домой.

— Отведал? — спросила она.

— Отведал, — сказал я. — Камио-сан сказал, вода молодеет к празднику.

— Сайто-сан сегодня сказал: молодая вода, — сказала бабушка. — Они не сговаривались.

Она помолчала. Потом сказала, не глядя на меня:

— Юта. Завтра пойдёшь на кладбище опять. Полей, что положено. Пока жива я — поливала я.

Я не спросил, кого. В долине уже к тому вечеру я понял: вопросы здесь не задают. Их носят, как чашку, которую боятся расплескать.

До Канбо оставалось десять дней. Хризантемы ещё не перекопали.

Глава 2. Вода на ладони

Утро четвёртого октября началось для меня с обхода, и это было первое утро, когда Акико-сан взяла меня с собой.

Акико-сан была старшей накай нашего дома. Накай — это горничная рёкана, но слово «горничная» здесь ничего не объясняет: накай знает дом так, как капитан знает корабль, — по звукам. Мы шли по коридору второго этажа, и половицы под ней молчали, а подо мной пели, и она шла чуть медленнее, чтобы я мог слушать свои ошибки. Комнаты в «Сакурае» носили имена, не номера: «Момидзи», «Цуки», «Юки», «Хотару», «Кири». Я пока путал «Кири» и «Юки» и каждый раз мысленно возвращался на три двери назад.

— Восточное крыло не обходим, — сказала Акико-сан у лестницы. — Оно закрыто.

— Совсем?

— С тысяча девятьсот восемьдесят восьмого, — сказала она. — Там банкетный зал и комнаты, где никто не живёт. Но всё хранится.

Она сказала это так, как говорят о погоде на следующей неделе, и пошла дальше, а я постоял. Двери восточного крыла были чистые. На ручке — ни пыли. В доме, где всё имеет своё место, даже закрытое крыло содержали так, будто оно каждое утро собиралось открыться.

В холле зазвонил телефон. Он был один на весь дом, чёрный, дисковый, стоял на полке у стойки, и когда он звонил, его слышали и кухня, и сад. Тогда телефон был один на дом — и принадлежал он всем. Акико-сан сняла трубку, выслушала, сказала «передам» и записала на бумажном квадратике: время, имя, суть. Бумажник этот у неё жил у стойки с незапамятных времён, и гости «Сакураи» давно знали: сказанное по телефону становится записанным. Больше ничего с ним не происходило. Просто — записанным.

К бане я спустился ближе к полудню с корзиной чистых полотенец.

Ротэнбуро — это баня под открытым небом. Наша стояла у самой реки, за банным домиком: каменная чаша на восемь тонн воды, кедровая крышка, а над ней — круглый год пар, который виден с обоих склонов долины. Вода в неё шла из источника по подземной трубе, горячая, пятьдесят два градуса, и Сайто-сан держал её ровно на сорока двух с половиной, как самурай держит меч: не напрягаясь и не отпуская.

Сайто-сан был у чаши. Утренняя крышка ещё лежала на воде — точнее, лежали её секции: крышка была секционная, из шести кедровых щитов, потому что в холодные ночи купающиеся не снимали её целиком, а отодвигали одну секцию, ровно настолько, чтобы войти. Сейчас одна секция стояла сдвинутой на ширину ладони.

— Кадояма-сан купался, — сказал Сайто-сан, не оборачиваясь. — Всегда на ладонь.

Я не понял, как можно это знать, и потом понял: можно. Сайто-сан проверял воду сорок лет, и для него крышка была тем же, чем для Акико-сан — половицы. Гость чести купался по ночам, это была его привилегия, и он всегда оставлял после себя один и тот же зазор. На ладонь. Не больше и не меньше.

Потом Сайто-сан достал журнал. Он висел на гвозде в банном домике, в клеёночной обложке, истёртой до дерева, и вёлся с тысяча девятьсот пятьдесят первого года — каждый день, дважды в день, почерком, который не изменился за сорок лет. Сайто-сан открыл пробный кран у домика, подставил ладонь, подержал, закрыл. Потом записал. Я смотрел, как он пишет: сначала строку ровную, крупную — время и градусы. Потом, ниже, мелко — вторую.

— Сначала кран, — сказал Сайто-сан. — Потом топка. Потом крышка.

Это был весь урок. Вторую строку он не объяснил, и я решил, что у людей, которые сорок лет записывают воду, есть право на мелкий почерк.

Через сад я пошёл обратно с пустой корзиной и увидел Сайто-сана уже у дальней калитки. Из сада был малый выход на тропу, что шла вдоль реки к мосту, и калитка эта была его дорогой:

так он ходил проверять приток. Веранды первого этажа выходили в сад настежь — у нас вообще всё выходило в сад, кроме восточного крыла. Калитка скрипнула. Сайто-сан не оглянулся.

Вечером, после ужина, Кадояма-сан взял у стойки ключ от ротэнбуро.

Ключ висел на отдельном гвозде, с деревянной биркой, и я успел изучить его, потому что стоял рядом, принимая у гостей зонты. Кадояма-сан снял ключ с гвоздя точным движением человека, который снимает его не в первый раз.

— Гостю чести — ночная баня, — сказала Акико-сан, проходя мимо с подносом. — Кадояма-сан у нас гость чести.

— Это привилегия, — сказал Кадояма-сан, и я впервые услышал в его голосе что-то похожее на удовольствие. — В Токио так не купаются.

— В Токио, — сказала Акико-сан, — вообще много как не купаются.

Он ушёл в сторону бани, и я смотрел ему вслед. Две недели назад этот человек приехал оценивать наш дом, как оценивают участок под застройку: шагами, записями, молчанием. Теперь он брал ключ с гвоздя, как свой. Долина умела это делать с людьми. Она не уговаривала. Она просто купала их каждую ночь, пока они не сдавались.

Пятого октября меня отправили на почту — отнести бандероль и, как сказала бабушка, «не спешить обратно».



Митико-сан, мать Мисаки и начальница почты, встретила меня из-за стойки сиянием человека, у которого есть новость. Новость стояла у неё на тумбе, серая, с мигающим огоньком.

— Факс, — сказала Митико-сан. — Первый в долине.

Она сказала это так, как другие говорят «внук». Я обошёл тумбу. Факс был большой, важный, с рулоном блестящей бумаги внутри, и Митико-сан погладила его по корпусу, просто так, проходя мимо, — я видел, что это у неё привычка, как у других людей — поправлять очки.

— Сейчас покажу, — сказала она. — Для кооператива, в уезд, подтверждение заказа. Смотри, Мидзумото-кун, это лучше любого урока.

Она положила лист в лоток, набрала номер, и машина затянула бумагу в себя медленно, с достоинством, как священник читает молитву. Через минуту из другого бока выползла полоска: дата, время, номер, «передано». Митико-сан оторвала её и приколола к журналу.

— Видишь? — сказала она. — Кто, кому, когда. Всё записано само. Ни один слух в долине не работает так честно, как мой факс.

— А обратно?

— Обратно придёт завтра. Или когда в уезде вспомнят, — сказала она и погладила факс уже без всякого повода. — Бумага не торопится, Мидзумото-кун. Торопятся люди. А бумага — она как вода: доходит, куда ей положено.

У входа, на улице, стоял розовый таксофон — единственный в долине. Таксофон — это телефон для чужих: монета, трубка, ветер в ухо. Я прошёл мимо него и подумал, что у нас и телефон-то один на дом, а у почты целых две машины связи, и что Митико-сан по праву считает себя губернатором.

Мисаки выглянула из-за двери подсобки и помахала мне рукой, не отрываясь от какого-то спора с матерью о том, что важнее — слухи или скорость их доставки.

К храму я поднялся уже под вечер, потому что бабушкино «не спешить обратно» я понимал буквально и норовил растянуть на весь день.

Камио-сан стоял у ворот. Камио-сан был каннуси — так называют служителя синтоистского храма, и входя, он всегда касался ладонью столба ворот, как кланяются, не останавливаясь. Он рассказал мне про Канбо то, чего я не знал, а может, и знал, но забыл за городом: что это наш мацури, праздник, но не шумный, как летний, а благодарственный — долина благодарит источник за год. Мацури бывают разные. Один раз в год — такой, когда главный гость не человек, а вода.

— Хризантемы у вас готовы? — спросил он.

— Перекопаем на той неделе, — сказал я. — Акико-сан велела к празднику свежую глину.

— Правильно велела, — сказал Камио-сан. — Праздник любит свежую землю. Как могилы — свежую воду.

Он сказал это просто, между делом, и пошёл к залу, а я остался стоять у ворот. Я вспомнил безымянную могилу за последним рядом и вазу, в которой вода всегда была свежая. Свежая вода. Свежая земля. У долины были свои счёты, и я ещё не умел их читать.

На кухне Исии-сан писал меню.



Кайсэки — это не ужин, это последовательность: маленькие блюда, каждое со своим смыслом, и порядок в них важен, как порядок в церемонии. Исии-сан писал меню для кайсэки кануна Канбо, и я смотрел через плечо, пока разносил чистые чаши. Он писал иероглифы медленно, красиво, и пробовал бульон с половника, слушая меня, и не глядя.

— Исии-сан, а почему сначала рыба, а потом суп?

Он пробовал бульон. Потом писал дальше. Потом сказал:

— Потому что осень.

Это был его способ разговаривать, и я уже начал к нему привыкать: Исии-сан отвечал блюдами, а когда блюда не было под рукой — тремя словами, из которых одно было лишним. На карточке меню он пририсовал клёновый лист. Совсем маленький, угловатый. Я сказал, что похоже. Он посмотрел на меня, как Акико-сан — на чашку с трещиной, и дорисовал второй.

Чаепитие шестого октября бабушка устроила на веранде, в последний тёплый вечер — она чувствовала такие вещи, как Сайто-сан чувствовал воду.



Сидели: Кадояма-сан, Накаяма-сан, наш гость-фотограф Морита-сан, бабушка и я на подносе. Морита-сан снимал всё подряд — он вообще снимал всё подряд, в этом был его способ быть вежливым: чаши, пар над чаем, руки бабушки, клёны за рекой. Фотоаппарат щёлкал у него как секундомер.

— Кадр без пара — день потерян, — объявил он, снимая чашу.

— А кадр с паром? — спросила бабушка.

— День прожит, — сказал Морита-сан с готовностью человека, у которого эти формулы заготовлены на все случаи.

Именно тогда Кадояма-сан достал из папки бумагу. Он делал это аккуратно, как делал всё: развернул, пригладил, положил на середину стола.

— Позвольте показать, — сказал он. — В уезде мне дали посмотреть старые реестры. Из любопытства — я ведь оценщик, мне положено любопытство. Это копия. Сорок шестой год, земля у реки.

На бумаге были столбцы, печати, длинные ряды имён — и одна подпись, которую нельзя было прочесть: она шла волной, как след кисти по воде. Бабушка посмотрела вежливо и перевела разговор на погоду ровно через положенное время. Морита-сан щёлкнул стол, щёлкнул бумагу, щёлкнул наши лица над бумагой. Накаяма-сан склонилась над копией и читала. Долго. Дольше всех. Учителя читают всё, что им дают, — я видел это у неё уже третий раз за неделю:

она читала меню, она читала афишу у кооператива, она читала этикетку на моём тонике, пока я наливал чай.

— Занятно, — сказала она наконец и выпрямилась. — Дети теперь совсем не умеют читать старый почерк. Я им говорю: почерк — это тоже голос. А память — слух, которым голоса различают.

— Вы правы, — сказал Кадояма-сан и убрал копию в папку тем же аккуратным движением. Потом, уже как бы между делом, глядя на клёны за рекой: — Мне сказали, с перевала Куросава долина видна вся, до последней крыши. Кто-нибудь ходит туда теперь?

— А вы собрались, Кадояма-сан? — спросила бабушка.

— Ноги уже не те, — сказал он и улыбнулся ровно настолько, насколько положено.

Больше к тропе он в тот вечер не возвращался. Чай остывал, Морита-сан снимал пар, Накаяма-сан рассказывала, что в её школе в Осаке осенью дети носят учителям хризантемы, а учителя делают вид, что удивлены. Я уносил чаши. За рекой темнело рано, как и положено в октябре, и от бани тянуло тёплым, потому что вода уже ждала своего ночного гостя.

До Канбо оставалось пять дней. Журнал висел на гвозде в банном домике, и последняя строка в нём уже высохла.

Интерлюдия №1

Меню кайсэки кануна Канбо. Рёкан «Сакурая», кухня. Карточка, иероглифы — почерк Исии Гэна. Поля испещрены его же пометками, карандашом.

Сакидзукэ: каштановый тофу, мята горная. *Ван*: суп прозрачный, судак, юдзу. *Цукуруи*: речная форель, два вида. *Якимоно*: мацутаке на углях, соль, лайм. *Такиавасэ*: таро, тыква, куриный фарш. *Меши*: рис с каштанами. *Томэ-ван*: мисо с имено. *Ко-но-моно*: три маринада. *Мидзуга-иши*: груша-наши, виноград «косю».

Поля, карандаш, сверху вниз: «Мацутаке — Исии-сан берёт у Такэда, не у кооператива». «Оками — судак без кожи». «Госпожа Накаяма — супу меньше соли, она не скажет». «Гость из Осаки — без сансё. Горечи не любит».

Глава 3. Канун

Утром десятого октября Акико-сан поставила меня расстилать футоны.

Футон — это постель, которую убирают в шкаф на день: матрас, одеяло, и всё это меряется шагами, потому что в комнате с татами ничего не ставят «примерно». Татами — соломенные маты, которыми устелен пол, — сами задают размер комнаты, как клетки в тетради. Комната «восемь матов» — это не про площадь. Это про то, сколько в ней помещается покоя. Акико-сан входила в комнату, становилась на колени и расстилала так, будто гладила дом. Я делал то же самое, только медленнее в четыре раза, и она передельывала за мной без единого вздоха, что было хуже любого вздоха.

Из окна «Цуки» я видел дорожку к бане. Клумбы вдоль неё стояли свежеперекопанные — позавчера мы с Акико-сан закончили обе, — и красная глина лежала рыхлыми грядами, жирная от росы. Хризантемы над ней уже собирались раскрыться. Завтра, к Канбо, долина выйдет к источнику благодарить его за год, и дорожка к бане будет самой нарядной дорожкой Юмори. Сейчас она просто блестела.

Гостей в доме было трое, и все трое ждали праздник по-своему. Морита-сан ждал его с фотоаппаратом. Кадояма-сан — с чемоданом: он уезжал завтра утренним автобусом, три недели оценки были закончены, и вчера он полдня провёл в уезде. Накаяма-сан ждала Канбо, как ждала его двадцать четыре года, — как человек, у которого этот день в календаре не круглый, а квадратный: на него можно ставить вещи.

Днём я нёс кипяток в «Момидзи».

Накаяма-сан просила кипяток — у неё была бессонница, старая, привычная, и она заваривала себе на ночь какую-то траву, от которой, по её словам, сон приходил «хотя бы в гости». Акико-сан носила ей чайник каждый вечер, а сегодня поручила мне. Я поднимался по главной лестнице — половицы пели подо мной в три голоса, — и на площадке меня окликнули.

— Юта-кун. Ты ходишь длинной дорогой.

Накаяма-сан стояла у дальней, узкой лестницы, которую я считал хозяйственной и в которую никогда не заходил. На ней было осеннее хаори — короткая накидка поверх кимоно, тёмно-вишнёвая, с подкладкой в мелкий клён. Она поманила меня рукой, как учительница поманивает отличника к доске.

— Иди сюда. Смотри.

Я спустился за ней. Лестница была крутая, узкая — и ни одна ступень под нами не издала ни звука. Я остановился и потоптался специально. Тишина.

— Немая, — сказала Накаяма-сан с гордостью изобретателя. — Единственная в доме. Домашние знают. — Она повела меня дальше, через задний коридор, мимо кладовой, к низкой двери у самой кухни. — А отсюда — в сад. И вот она, короткая дорога к бане. Из «Момидзи» — три минуты, и никого не разбудишь.

Мы вышли в сад. Дорожка блестела свежей красной глиной, и Накаяма-сан обошла клумбу бережно, по камням, привычным шагом человека, который ходил здесь сотню раз.

— Я ведь приезжаю сюда с шестьдесят восьмого года, — сказала она. — Одна и та же неделя октября, одна и та же комната. За двадцать четыре года я тут почти домашняя. — Она засмеялась, и в этом смехе не было ничего, кроме того, что было сказано. — Домашним положено знать немые лестницы. Теперь ты тоже знаешь. Не выдавай меня Акико-сан.

— Она сама вас выдала, — сказал я. — Она носит вам кипяток этой дорогой. Я проверил: пятнадцать ступеней, и ни одна не поёт.

Накаяма-сан посмотрела на меня внимательно и улыбнулась уже по-другому, медленно.

— Вот за это твоя бабушка тебя и держит, — сказала она. — Память у тебя домашняя.

Кайсэки в честь кануна Канбо подали в шесть, в большой комнате первого этажа.

За низким столом сидели Кадояма-сан, Накаяма-сан и Морита-сан; бабушка сидела хозяйкой у подноса с сакэ; Сайто-сан, по праздничному обычаю, сидел с нами до восьми, молчаливый и торжественный, как памятник самому себе. Мы с Акико-сан подавали. Исии-сан был на кухне, и каждое блюдо входило в комнату как его реплика: каштановый тофу, прозрачный суп с судаком, речная форель двух видов, мацутаке на углях — грибы пахли так, что Морита-сан снял их до того, как попробовал.

У нас не наливают себе сами. Это старый обычай, и в праздничный вечер он держит стол лучше всякого этикета: твоя чаша наполняется рукой соседа, твоя рука наполняет чашу соседа, и следить за этим надо внимательно, потому что пустая чаша у гостя — это пустое место в разговоре. Бабушка следила за столом незаметно, как следят за погодой.

— Кадояма-сан, ваша чаша стоит, — сказала она. — Это непорядок. Уезжающему нельзя стоять.

— Уезжающему вообще много чего нельзя, — сказал Кадояма-сан и подставил чашу Накаяма-сан, которая сидела рядом. — Оказывается.

Он был сегодня другой. Я не сразу понял, в чём дело: он всё так же записывал бы в блокнот, если б блокнот был при нём, всё так же держал спину. Но спина его сегодня не несла никакой папки. Три недели он ходил по долине оценщиком, а сегодня сидел за столом человеком, у которого закончилась работа. Это шло ему. Это было даже жалко.

— Завтра уезжаете, — сказала бабушка. — Долина запомнит вас вежливым.

— Долина запомнит меня докучливым, — сказал он. — Я ходил и мерял её шагами, как лавочник. — Он помолчал. Потом поднял чашу, которую ему только что налили, и сказал, ни к кому не обращаясь: — В последнюю ночь — моя ночная баня. Привилегия, которой горжусь. В Токио меня спросят, что я привёз, а я привезу запах этой воды.

— И сувениры, — сказал Морита-сан.

— И сувениры, — согласился Кадояма-сан. Все засмеялись, и он засмеялся тоже, и тут я понял, что за три недели я ни разу не видел, как он смеётся. Потом он сказал — легко, полупутя, в пространство над столом: — А перед отъездом я расскажу вам одну старую историю этой долины. Завтра. Я ведь не только мерял. Я ещё и читал.

— Все старые истории долины начинаются одинаково, — сказала бабушка. — С воды.

— Эта — с бумаги, — сказал Кадояма-сан и больше не сказал ничего, и никто не стал спрашивать, потому что в канун праздника у каждого есть право на тайну до завтра.

Морита-сан заговорил про чайную «Кицунэ» — он обедал там на той неделе, и мадам Рэйко угостила его бесплатно, «за профессию». Кадояма-сан слушал, покручивая чашу, и потом сказал — ровно, как говорят номер дома:

— Рэйко. Так её теперь зовут. В Токио её звали Каё.

— Вы знакомы? — спросила бабушка.

— Города помнят имена, — сказал Кадояма-сан, и это был не ответ, и все приняли его, как принимают за столом всё, за чем не стоит вопроса.

Сайто-сан поднялся ровно в восемь, поклонился и ушёл к своей воде. Накаяма-сан проводила его глазами и достала из рукава хаори маленький пузырёк с плоской крышкой. Она сделала это открыто, при всех, как достают носовой платок.

— Моё, на ночь, — сказала она, поймав мой взгляд, и покачала головой с самоиронией школьницы. — Бессонница, Юта-кун. Старость — это когда снотворное носишь в рукаве, как конфету. Свой рецепт, свой доктор, всё честно. — Она положила пузырёк на стол, рядом с чашей, где он и стоял весь вечер, как прибор на столе у мастера. — Зато сплю без снов. Простите за слабость в праздник.

Никто не нашёл в этом ничего, кроме того, что было сказано. Я тоже.

Наливали дальше. Морита-сан рассказывал про пурпурную гору, которую ждал три дня и не дождался. Бабушка спрашивала — и все почему-то отвечали ей больше, чем она спра-

шивала. Потом Накаяма-сан поднялась с чайником сакэ — подливающему положено стоять, — обошла стол и остановилась у плеча Кадояма-сан, спиной к нам. Он подставил чашу. Она наклонила чайник. Фотоаппарат Морита-сан щёлкнул, потому что Морита-сан щёлкал всё, что теплело.

— Ваша рука тёплая, — сказал Кадояма-сан.

— Учительская, — сказала Накаяма-сан. — Сорок лет держу мел.

Она вернулась на место. Кадояма-сан поднял чашу, отпил — и замер. Я стоял у подноса в трёх шагах и слышал, как он сказал, тихо, себе под нос, с недоумением человека, которому подсолили суп:

— Горчит.

Он поставил чашу. Больше он к ней не притронулся, хотя Накаяма-сан посмотрела на него с вопросом, а бабушка — без всякого вопроса. Вечер пошёл дальше, потому что вечера не останавливаются из-за недопитой чаши. Морита-сан щёлкнул клёны за окном, хотя за окном была темнота. Исии-сан прислал рис с каштанами. Кто-то сказал, что завтра будет туман, и все согласились, что завтра будет туман.

В десять минут девятого стол стал собираться сам, как собирается вода в ладонь. Первым вышел Кадояма-сан — он сказал, что выйдет подышать, и ушёл на энгава. Энгава — это деревянная веранда, что идёт вдоль комнат снаружи, под самой крышей; летом на ней сидят, осенью на ней стоят. Он стоял там, над тёмным садом, и курил, и точка его сигареты была единственным огнём, который не грел.

Я выносил чаши. В третий раз, проходя мимо энгава с подносом, я услышал его голос — негромкий, обращённый скорее к саду, чем ко мне:

— Хороший дом, Мидзумото-кун. Я ведь мог приезжать сюда просто так. Все эти годы. Мог же.

Я не знал, что ответить, и промолчал, потому что был молод и думал, что молчание — это нейтральность. Теперь я знаю, что молчание — это тоже ответ. Просто мы редко знаем, на что именно ответили.

За рекой гасла долина. В банном домике горел свет — Сайто-сан записывал вечернюю строку журнала. Дорожка к бане лежала свежей красной глиной, и утром весь город пойдёт по ней к источнику.

До Канбо оставалась одна ночь.

Глава 4. Одна доска

После банкета дом затихал поэтапно, как гаснущие фонари.

Сначала ушёл смех — он ушёл вместе с Морита-сан, который поднялся к себе подписывать кассеты. Потом ушли голоса — Накаяма-сан поднялась в «Момидзи» по главной лестнице, и половицы пели за ней до самого верха. Потом ушёл запах углей — Акико-сан вынесла жаровню, и коридор сделался пустым и прохладным, как колодец. Кадояма-сан вернулся с энгава последним, медленный, расслабленный, и прошёл в «Цуки».

Акико-сан посмотрела ему вслед и сказала — не мне, просто в пространство холла, как говорят всё, что касается дома:

— Гость устал. Вина много.

Она сказала это тем тоном, каким констатируют дождь: не хорошо и не плохо, просто учтено. Я кивнул. Мне было девятнадцать, и я считал, что «вина много» — это свойство вечера, а не человека.

В десять минут десятого зазвонил телефон.

Акико-сан сняла трубку. Я слышал её половину разговора, стоя за стойкой: «Слушаю». Пауза. «Сейчас позову». Она пошла к «Цуки», и Кадояма-сан вышел к телефону в домашнем, без галстука, впервые за три недели. Говорил он недолго. Два раза сказал «да» и один раз — «понял». Потом положил трубку и постоял над ней секунду, как стоят над письмом, которое уже подписано.

— Всё в порядке, Кадояма-сан? — спросил я, потому что спрашивать было моей работой.

— Да, — сказал он. — Уезд. Завтрашнее.

И ушёл в свою комнату. Акико-сан записала звонок в бумажник у стойки — время, суть, как записывала всё, — и больше телефон в тот вечер не звонил.

Моё дежурство кончалось в половине одиннадцатого.

Эти полчаса были моим любимым временем в рёкане, хотя я бы не признался в этом никому в Токио. Дом спал, и можно было просто стоять за стойкой и слушать, как он дышит. Дышал он в основном водой: где-то внизу, за стеной, работала труба от источника, и если прислушаться, было слышно, как долина качает воду в себя и обратно.

Перед запираанием я вышел на улицу — посмотреть, всё ли спокойно, как велела бабушка. Улица была пуста. Зато над уступом храма горели фонари — завтра Канбо, и Камио-сан зажжёт их все, шестнадцать штук, по склону. На ближнем фонаре был высечен мон — фамильный греб: три запятые, свернувшиеся в круг, как три капли, которые гонятся друг за другом. Мон бывают у храмов, у домов, у семей — это подпись, которую можно читать, не умея читать. Я не знал, чей это греб. Храмовый, наверное. В тот вечер я решил, что храмовый.

В десять я видел у банного домика свет: Сайто-сан закрывал баню. Он сделал всё, как всегда, — я уже знал порядок: сначала кран, потом топка, потом крышка, — и фонарь его погас. Долина стала совсем тёмной, как становится только в горах.

В двадцать минут одиннадцатого к стойке вышел Кадояма-сан. В куртке. С фонариком.

— Пройдусь до почты, — сказал он. — Потом баня.

— Ключ у вас? — спросил я.

— Ключ при мне, — сказал он, и в голосе его опять была та гордость, которую я слышал за банкетом: привилегия. — Спокойной ночи, Мидзумото-кун.

— Спокойной ночи.

Он ушёл. Я не видел, как он ушёл: из холла видна только стойка и двери комнат, а гость чести, как я уже знал, ходил своими дорогами. Я занёс в книгу дежурств: «22:20. Кадояма-сан — почта, баня». Это было всё, что полагалось занести. Это было всё, что я знал.

В половине одиннадцатого я запер холл.

Это был последний акт моего дежурства: большой деревянный засов, крюк, фонарь на ночь прикрутить вполнакала. Я сделал всё три и стоял в тёмном холле, прислушиваясь из привычки, которой у меня ещё не было.

В двадцать два тридцать пять запела половица.

Одна. Одна доска в холле, та самая, что пела для всех, кто входил. Она спела коротко — и всё. Я ждал второй: за первой всегда шла вторая, потому что человек не стоит на одной доске. Второй не было. Я постоял ещё немного, держа руку на засове, который был уже заперт, и решил, что дом оседает. Старые дома оседают, я слышал это от Акико-сан. Дом оседает, труба дышит, половица поёт сама.

Я пошёл спать. Семейное крыло молчало; у бабушки под дверью было темно.

Ночью я проснулся один раз.

Мне не снились сны — просто я открыл глаза и лежал, слушая темноту. Труба дышала. Дом держал свои сорок лет тишины ровно, как Сайто-сан держал воду. За окном, когда я подошёл к нему, было нечего смотреть: туман полз в долину, низкий, речной, и фонари у храма в нём расплылись в жёлтые пятна, как акварель, по которой провели мокрой кистью. Я посмотрел на часы. Часы показывали что-то между тремя и четырьмя.

Я вернулся под одеяло и уснул сразу, как засыпают в девятнадцать лет, — без перехода, на середине мысли. Мысль была о том, что завтра Канбо, что хризантемы стоят перекопанные, что завтра весь город пойдёт по новой красной глине к источнику, благодарить воду за год.

Половица спела один раз. Больше ночь не сказала ничего.

Глава 5. Утро без Канбо

Колокол ударил в десять минут седьмого.

Он был маленький, этот колокол. Он висел у банного домика для праздников. Его звон был тонкий и быстрый. Он не был похож на тревогу. Именно поэтому я понял, что это тревога.

Я одевался бегом. Коридор был холодный. Половицы пели. Мне было всё равно. Внизу, в генкане, уже стояла Акико-сан, одетая полностью, будто она не ложилась. Она не сказала мне ничего. Она просто открыла дверь.

Туман стоял над рекой. Он был ещё не пройден солнцем. Дорожка блестела. Красная глина брала сапоги, и я шёл по камням, как учила Накаяма-сан, — по краю, бережно. Я думал об этом потом. В тот момент я просто бежал.

Сайто-сан стоял у ротэнбуро. Крышка была снята. Все шесть секций лежали на настиле. Пар шёл из воды, как всегда. Всё было, как всегда, кроме одного.

Кадояма-сан был в воде.

Он лежал у дальнего края чаши. Лицом вниз. Руки вдоль тела. Вода закрывала его до лопаток, и пар поднимался над ним так же ровно, как над любой водой. Я не скажу больше ничего о том, как это выглядело. Это не то, что нужно говорить. Скажу одно: я смотрел и ждал, что он пошевелится, потому что вода была живая и утро было живое и я был живой.

Он не пошевелился.

Сайто-сан стоял рядом. В руке у него был журнал, открытый. На странице были две строки — ровная и мелкая. Я не читал их. Я увидел потом, что он сделал до колокола: он опустил в воду ладонь. Потом открыл пробный кран. Потом записал. Сначала — вода. Потом — люди. Так был устроен Сайто-сан, и в то утро я понял это окончательно.

— Юта, — сказал он.

Это было единственное слово. Я подошёл. Он смотрел не на воду. Он смотрел на секции крышки, лежавшие на настиле, и смотрел долго, на секунду дольше, чем смотрят на дерево. Потом он положил ладонь на край одной секции. Провёл по нему. Убрал руку.

Больше он не сделал ничего.



Доктор Сэкинэ пришёл в семь пятнадцать. Он жил в пяти минутах, но был одет, как для визита.

Он осматривал долго. Мы стояли на настиле: я, Сайто-сан, Акико-сан. Бабушка пришла и стояла с нами. Она сказала одну фразу. Она спросила доктора: «Тэруо-сан, ему было больно?» Доктор не ответил сразу. Потом сказал: «Нет, Саэ-сан. Он спал». Больше бабушка не спрашивала.

Доктор Сэкинэ говорил тихо и по-военному коротко. Утопление. Следов борьбы нет. На коже — ничего. В комнате гостя — пузырёк со снотворным, рецепт уездной клиники, выписан неделю назад. Воды в лёгких достаточно. Он назвал время. Он сказал: между тремя и пятью утра. Тёплая вода, сказал он, держит тело. По холодной воде он сказал бы точнее.

— Уснул, — сказал доктор. — Горячая вода, усталость, снотворное. Уснул и ушёл под воду. Я видел такое два раза за сорок лет. Оба раза — усталые люди из города.

Акико-сан стояла очень прямо. Я смотрел на неё, а не на воду. Мне было легче смотреть на неё.

Канбо отменили в восемь.

Это сделала бабушка. Она послала меня к храму с короткой фразой: «Скажи Камио-сан: вода забрала гостя. Праздник не держим». Я бежал по Улице мимо закрытых дверей. Фонари ещё горели — их не успели погасить, и они горели днём, по ошибке, шестнадцать жёлтых

ошибок по склону. Камио-сан выслушал меня у столба ворот. Он коснулся столба ладонью, как всегда. Потом снял шляпу. Это был его ответ.

Я шёл обратно и видел, как долина гасит праздник. У кооператива снимали флаги. У чайной «Кицунэ» мадам Рэйко гасила фонарь над дверью. У почты Митико-сан стояла на крыльце, и Мисаки стояла рядом, и они не разговаривали. Хризантемы вдоль дорожки к бане стояли перекопанные, свежие, никому не нужные. Красная глина блестела от росы.

У рёкана меня остановил Сайто-сан. Он стоял у калитки с журналом под мышкой. Он ничего не сказал. Он просто стоял, и я постоял с ним. Потом он ушёл к бане — снимать остальные секции, закрывать приток, делать вещи, которые делал сорок лет.

Я вошёл в дом и услышал голоса гостей. Морита-сан говорил, что поедет в уезд, что сдаст плёнку, что это ужасно. Накаяма-сан сидела в общей комнате с чашей, которую ей поставила Акико-сан, и плакала. Тихо. В рукав. Как плачут учителя — стараясь не быть слышанной детьми.

День шёл дальше. Он не спрашивал нас. Туман ушёл к девяти, как всегда. Река текла, как всегда. В десять приехал серый автомобиль из уезда, и я понял, что это полиция, хотя на автомобиле не было написано ничего.

Журнал висел на гвозде в пустом банном домике. Последняя строка в нём была сухой.

Интерлюдия №2

Страница журнала температур источника. Рёкан «Сакурая», банный домик. Клеёнчатая обложка, карандаш, почерк ровный, без наклона.

октябрь 9. 05:00 — 42,6. Приток ровный. октябрь 9. 22:00 — 42,5. Закрыл. октябрь 10. 05:00 — 42,5. Приток ровный. октябрь 10. 22:00 — 42,5. Закрыл. октябрь 11. 05:00 — 39,8. октябрь 11. 06:10 — 38,4. Крышка снята. Гость в воде. Колокол. октябрь 11. 09:40 — 36,1. Приток закрыт. Канбо не держим.

Глава 6. Инспектор из уезда

Серый автомобиль приехал в двадцать минут девятого.



Из него вышел человек в штатском, среднего роста, с лицом, на котором усталость сидела не как выражение, а как профессия. Он поклонился бабушке ровно на положенный угол. Он поклонился Сайто-сан на тот же угол. Это был инспектор Куросуми из уездного города, и первое, что он сделал, — снял ботинки, хотя ему никто не успел этого предложить.

Осмотр занял сорок минут. Я не был при осмотре. Я видел из окна, как инспектор стоит у ротэнбуро, как Сайто-сан стоит на шаг позади него, как инспектор пишет, а Сайто-сан — нет. Потом они вошли в банный домик, и инспектор долго читал журнал. Он прочёл его, наверное, до самого пятьдесят первого года. У таких людей чтение — это форма допроса.

Потом начались показания. Их давали в общей комнате, по одному, и бабушка подавала чай каждому, и инспектор пил его, не замечая.

Первой была Акико-сан.

Она вошла с подносом, поставила инспектору чашу и доложила: звонок был в десять минут десятого, мужской голос, не назвался, просил господина Кадояма. Господин Кадояма говорил недолго. После этого дом был тихий. После половины одиннадцатого — тихий совсем.

— После половины одиннадцатого, — повторил инспектор. — Что произошло в половине одиннадцатого?

— Мидзумото-кун запирает холл, — сказала Акико-сан. — Половица поёт. После неё — тишина.

— Половица пела после запираания?

— Один раз, — сказала Акико-сан. — В двадцать два тридцать пять. Больше — тишина.

Инспектор записал. Он записывал всё одинаково — и «мужской голос», и «чай остыл», и в этом было что-то успокоительное, как в метрономе.

Моё показание было коротким. Я дал ему книгу дежурств. Он прочёл мою строку вслух: «Двадцать два двадцать. Кадояма-сан — почта, баня». Он спросил, слышал ли я, как гость вернулся. Я сказал, что нет. Он спросил, как гость вышел из дома, если холл был виден мне, а после половины одиннадцатого — заперт. Я сказал про веранды первого этажа. Инспектор посмотрел на меня так, как смотрят на замок, который оказался не замком.

— Веранды, — сказал он. — Зафиксировано.

Он спросил ещё несколько вещей. В котором часу гость обычно купался. Кто ещё пользовался ночной баней. Кто знал про ключ. Я отвечал. Потом он написал в блокноте что-то короткое, подчеркнул два раза и закрыл блокнот. Я не видел, что он написал. Он не стал читать вслух.

В полдень пришла Митико-сан.

Она пришла сама, без вызова, в парадном, и принесла журнал почты. Она положила его перед инспектором и сказала, что вчера в двадцать три сорок господин Кадояма отправил факс. В Осаку. В свою компанию. Он был спокоен. Он был, наоборот, лёгкий. Он сказал: «Последнее дело, Хаттори-сан, и домой». Митико-сан помнила всё, потому что Митико-сан помнила всё.

— Временной интервал, — сказал инспектор. — С двадцати трёх сорока до пяти утра. Содержание факса?

— Содержание у адресата, — сказала Митико-сан с достоинством человека, у которого спрашивают, чужие ли письма она читает. — У меня — лог. Вот.

Инспектор посмотрел на лог долго. Потом посмотрел на Митико-сан. Потом сказал «зафиксировано» и попросил у уезда запросить Осаку. Это было единственное его действие за день, похожее на спешку.

Я не буду описывать этот день подробнее. День был серый и скучный, как положено таким дням.

Из гостей держались по-разному. Морита-сан ходил по коридору туда-сюда и дважды спросил, не заберут ли его плёнки как вещественные. Ему сказали, что нет. Накаяма-сан сидела в общей комнате почти весь день. Она плакала. Не так, как плачут на похоронах чужих людей, — громче. Она гладила чашу и говорила: «Он же начал улыбаться. Я же видела, он начал». Акико-сан меняла ей чай, и Накаяма-сан брала свежую чашу обеими руками, как берут что-то, что нельзя расплескать.

Из всех нас его жалела одна она. Мы горевали по дому, по празднику, по себе. Она горевала по нему. Я запомнил это, потому что это было красиво.

Вечером, уже в сумерках, пришла мадам Рэйко. Она принесла от чайной сладости для гостей — так полагалось, — и постояла в генкане, не заходя. На ней было тёмное кимоно и канзаси — лаковая шпилька в высокой причёске, единственная на всю долину; канзаси носят не так, как носят заколки, её носят, как звание. Мадам Рэйко была из Токио, и канзаси была её Токио. Она сказала бабушке что-то тихо, бабушка поклонилась, и на этом визит кончился. Я подумал тогда, что она пришла посмотреть, как дом держится. Дома смотрят, как держатся, когда в них кто-то умер.

Утром двенадцатого Морита-сан уехал в уезд. Он вёз свои плёнки — проявка была только там, и ждать её полагалось неделю. Он жаловался на это у стойки, собирая ремни: целая неделя,

Мидзумото-кун, понимаете ли, неделя, кадры с Канбо, которого не было. Я сказал, что понимаю. Он уехал на девятичасовом автобусе, сидя у окна с сумкой на коленях, как сидят с чем-то живым.

Инспектор уехал в тот же вечер. Он сказал бабушке: «Пока это несчастный случай». Он сказал «пока» так, как говорят люди, которые ставят закладку в книге. Потом он поклонился ей на тот же угол, что и при встрече, и сел в серый автомобиль.

Факс ушёл в Осаку в двадцать три сорок. Обратный ещё не пришёл.

Глава 7. Письмо из Осаки

Тринадцатого октября серый автомобиль приехал снова.

Я увидел его из окна ресепшена и успел подумать, что инспектор Куросуми — единственный человек в долине, чьи приезды никто не обсуждает заранее. Он вошёл, поклонился бабушке на знакомый угол и попросил чая. Это было новое. В прошлый раз он не просил ничего.

Бабушка посадила меня наливать. Это означало, что мне разрешено слушать.

Инспектор положил на стол лист бумаги. Не блестящий факсовый, а обычный, копировальный, с шапкой уездного отделения. Он не читал его вслух. Он сказал так:

— Из Осаки ответили. Компания «Грин-Инн Кансай» подтверждает: в двадцать три сорок десятого октября от их сотрудника Кадояма Рёта поступил итоговый отчёт по объекту «Сакурая». Компания предоставила текст. — Он помолчал. — Рекомендация господина Кадояма: сделку не проводить. От покупки отказаться.

Я смотрел на бабушку. Она держала чашу обеими руками и смотрела на лист.

— Отказаться, — сказала она. — Он решил нас не продавать.

— Решение принято им до гибели, — сказал инспектор. — И зафиксировано. Отдельно зафиксировано следующее. — Он взял лист и всё-таки прочёл, потому что на такие вещи у него была процедура: — «Обнаружил примечательный архивный материал по истории титулов на землю участка. Подам отдельный меморандум». — Инспектор опустил лист. — Меморандум в компанию не поступил.

В комнате было тихо. За стеной дышала труба. Я думал о чемодане Кадояма-сан, который увезли в уезд с его вещами, и о том, что человек, который написал «подам отдельный меморандум», собирался домой с двумя победами сразу.

— Оками, — сказал инспектор. — Я обязан пересмотреть характер происшествия. Несчастный случай не подтверждается. Показания будут сняты повторно. — Он сказал это ровно, без удовольствия. — У человека, сорвавшего сделку, появляются люди, которые в этой сделке нуждались. У человека, собравшегося писать меморандум, — люди, которым меморандум был не нужен. Это два разных списка. Возможно, они пересекаются.

Бабушка пила чай. Потом спросила:

— Вы приехали спросить, кто в этих списках, инспектор?

— Я приехал спросить про архив, — сказал он. — Что за материал по титулам мог найти чужой человек в чужом городе за три недели?

И тут я сказал — потому что это было моё, я это видел:

— Реестр. У него была копия реестра. Тысяча девятьсот сорок шестой год.

Инспектор повернулся ко мне. Я рассказал про чаепитие шестого октября. Про папку, и копию, и столбцы с печатями, и подпись, которую нельзя было прочесть. Про «я ведь не только мерял, я ещё и читал». Про обещание рассказать старую историю долины — «эта, сказал он, с бумаги». Инспектор писал. Я говорил всё это и слышал себя со стороны, и мне было не по себе от того, как хорошо это складывалось. Факты, которые складываются хорошо, — это потом называют уликами. Тогда я этого слова не произнёс даже про себя.

— Восточное крыло, — сказала бабушка. — Там архив дома. За пятьдесят лет. Он спрашивал про него один раз. Я показала ему дверь.

— Кто ещё знал, что он там бывает?

— Все, кто видел его с пылью на рукаве, — сказала бабушка. — Он не прятался.

Инспектор записал. Потом он спросил про сделку — прямо, как спрашивают про погоду у метеоролога. Кому в долине была нужна продажа «Сакураи». Бабушка ответила не сразу. Она никогда не отвечала сразу, если ответ был про людей.

— Кооперативу, — сказала она наконец. — Огасавара-сан считает, что сеть поднимет долину. У него цифры. У него всегда цифры. — Она помолчала. — И мой сын присылал письма. Из Токио. У него тоже цифры, только другие.

Это было единственное, что она сказала про Кадзуо. Она сказала это так, как говорят о погоде в другом городе: точно и без оценки. Инспектор записал и то, и другое, и я понял, что два списка из его процедуры только что получили первые имена.

Дальше были два дня, которые я не буду разворачивать.



Слух пошёл по долине быстрее, чем ходит автобус. Митико-сан никому не рассказывала — она была профессионал, — но долина не нуждалась в рассказах: серый автомобиль приехал второй раз, и этого было достаточно. У чайной говорили про фирму. У кооператива не говорили ничего, и это было заметнее всего. Огасавара-сан прошёл по Улице в среду с папкой, и все, кто видел его, потом говорили, что он был мрачен. Я не знаю, был ли он мрачен. В среду вся долина была мрачная.

Я думал про фирму. Это было самое простое: большая сеть, сорванная сделка, чужой город, и человек, который утонул в самый удобный для кого-то момент. Я рисовал себе людей в сером, которые приезжают по серпантину и уезжают по серпантину. Это было удобно думать, потому что тогда виноватый был не наш. Я запомнил, как удобно было это думать.

Инспектор уехал в четырнадцатое, оставив расписание повторных показаний. Бабушка проводила его до генкана. Он сказал на пороге — тихо, но я стоял рядом:

— Оками. Он собирался рассказать вам старую историю в день отъезда. Кто-то узнал об этом раньше. Или не узнал. Это две разные задачи.

Бабушка поклонилась ему. Она не сказала ничего.

Старую историю он так и не рассказал. Но долина умеет хранить истории. Это я знал уже тогда.

Интерлюдия №3

Распечатка факса. Отправлено: 10 октября, 23:40. Абонент: «Сакурая», через узел почты Юмори. Получатель: «Грин-Инн Кансай», Осака, отдел развития. Лог № 1187, подтверждение передачи — 23:41.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ. Объект: рёкан «Сакурая» и участок у реки, долина Юмори. Оценщик: Кадояма Р., старший.

1. *Состояние объекта: удовлетворительное. Главное здание — перестройка 1924 г., фундамент и сваи в порядке. Источник стабилен: 52 °С, дебит ровный, журнал замеров с 1951 г., отклонений нет.*

2. *Клиентура: постоянная, возвращаемость высокая. Сезонность выраженная. Модернизация под сетевой стандарт — нерентабельна.*

3. *РЕКОМЕНДАЦИЯ: от приобретения отказаться. Повторные предложения владельцу не направлять. Основание — п. 2 и нижеследующее.*

4. *Отдельно: при работе с архивом объекта обнаружил примечательный материал по истории титулов на землю участка (копия уездного реестра, 1946 г.). Материал требует проверки и, возможно, юридической оценки прав всех сторон. Подаю отдельный меморандум по возвращении. Прошу никаких действий по объекту до меморандума не предпринимать.*

Выезжаю 11 октября, автобус 09:10. Кадояма Р.

Глава 8. Р

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.